

Мария Голованивская



ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА

Некоторые базовые концепты
в представлении французов и русских

Мария Голованивская

**Основы европейского
мировоззрения по данным
языка. Некоторые базовые
концепты в представлении
французов и русских**

«Издательские решения»

Голованивская М.

Основы европейского мировоззрения по данным языка. Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских / М. Голованивская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-503260-7

Книга посвящена реконструкции и контрастивному изучению современных представлений французов и русских о некоторых принципиально важных мировоззренческих категориях. К их числу относятся представления о судьбе, случае, удаче, знании, мышлении, душе, уме, совести, радости, страхе, гневе и других.

ISBN 978-5-00-503260-7

© Голованивская М.
© Издательские решения

Содержание

Список сокращений	6
Рамка исследования	7
Глава первая.	13
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Основы европейского мировоззрения по данным языка Некоторые базовые концепты в представлении французов и русских

Мария Голованивская

Монография была опубликована в 2008 году по рекомендации факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

© Мария Голованивская, 2019

ISBN 978-5-0050-3260-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Список сокращений

- ИЭССРЯ – П. Я. Черных. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1, 2. М., 1994.
- ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- МС – Мифологический словарь. М., 1991.
- МНМ – Мифы народов мира (энциклопедия). М., Т. 1. 1991. Т. 2. 1992.
- НОСС – Новый объяснительный словарь синонимов. М., 1995.
- ППБЭС – Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 1—2. М., 1992.
- РМР – М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Т. 1—2. М., 1994.
- РФС – Русско-французский словарь. М., 1969.
- СМ – Славянская мифология (энциклопедический словарь). М., 1995.
- СС – Х. Э. Керлот. Словарь символов. М., 1994.
- ССИ – Джеймс Холл. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
- СРС – Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М., 1994.
- СРЯ – Словарь русского литературного языка в 4 т. М., 1981—1984.
- СРЯ1 – Словарь русского языка. М., 1952.
- ССМС – М. М. Маковский. Сравнительный словарь мифологической символики в индо-европейских языках. М., 1996.
- СССРЯ – Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983.
- ССРЯ – Словарь синонимов русского языка. М., 1968.
- ТКС – Толково-комбинаторный словарь. Вена, 1984.
- ТС – Вл. Даль. Толковый словарь. Т. 1—4. М., 1955.
- ФРСАТ – Французско-русский словарь активного типа. М., 1991.
- ФРФС – Французско-русский фразеологический словарь. М., 1963.
- ФЭС – Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
- ЭСРЯ – Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. СПб., 1996.
- Cd – *Mangeart J.* Catalogue descriptif et raisonné des mss, de la bibl. de Valenciennes. Paris, 1860.
- DAF – Dictionnaire de l'ancien français. Paris, 1968.
- DE – *Dauzat, Albert.* Dictionnaire étymologique. Paris, 1939.
- DGLF – Dictionnaire général de la langue française. Paris, 1971—1978.
- DHLF – Dictionnaire historique de la langue française. Paris, 1992.
- DMI – *U. Lacroix.* Dictionnaire des mots et des idées. Paris, 1967.
- DS – Dictionnaire des synonymes. Paris, 1947.
- DS (b) – *H. Benac.* Dictionnaire de synonymes. Paris, 1956.
- DTP – Dictionarium theologicum portatile. Augustae vindelicorum Sumptibus fratrum Veith. Bibliopolarum. MDCCLXII.
- GLLF – Grand Larousse de la langue française. Paris, 1971—1978.
- I – *Cesare Ripa.* Iconologia. Milano, 1993.
- NDS – Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris, 1977.
- RI – Le Petit Robert. Paris, 1993.
- TLF – Trezor de la langue française. Т. 1—16. Paris, 1971—1994.

Рамка исследования

Мы будем «извлекать» ключевые особенности мировоззрения французов и русских из слов их языков. Эти слова расскажут нам о том, что доступно каждому, но не очевидно почти никому: как мыслятся те или иные понятия и как они мыслятся по сравнению с иной возможностью быть осмысленными, всегда реализованной в другом языке.

Очевидность такого способа и неожиданность результата, к которому он нередко приводит, впечатление фокуса, чуда, представляет собой очевидное-невероятное: неужели мы, русскоговорящие, каждый день говорим друг другу, что считаем мир недискретным, то есть неисчислимым, непредсказуемым, даже когда речь идет о простой задаче – пойти и купить хлеба в булочной за углом? Оказывается, да. И на это же мы внутренне киваем, когда рассчитываем на пресловутое «авось», когда ездим на бешеной скорости не пристегиваясь – ведь есть же причины, которые разуму не видны, они-то и не дают погибнуть знаменитому русскому лихачу. Обо всем этом рассказываем не конкретные мы, я, они, обо все этом каждый день, сами того не подозревая, хором кричат все, кто говорит по-русски. Используя язык, который не принадлежит никому и принадлежит всем, являя собой беспрецедентное коллективное бессознательное и осознанное, как теперь принято говорить, «в одном флаконе». Среди хора, сонмища, других выкриков, представляющих иные модели мировосприятия, слышен в том числе коллективный крик французов, и близко не допускающих такой взаимосвязи вещей, точнее – отсутствия явной взаимосвязи вещей. Никакого «авось», никакой недискретности. Если человек не сопоставляет причины и следствия или считает мир неисчислимым – он безумен. С точки зрения японца (1), первые очевидно проникнуты злым духом, а вторые глупы, и японцы тоже кричат об этом, вибрируя тонами и выводя иероглифы беличьими кисточками. И каждый это кричит не другому, не кому-то именно, а в небеса, обращая только туда поток своей общенациональной рефлексии, как правило, даже мало осознавая, что за пределами его языка живет другой мир, другой взгляд, другая модель мировосприятия и с этим всем богатством следует вести диалог культур.

Когда лингвисты обнаружили, что анализ языковых значений является умелой отмычкой к кладезю народной мудрости (2), открытия в этой области посыпались как из рога изобилия. Количество исследований, конференций, журнальных публикаций, посвященных «специфике русского национального менталитета», «пресловутой русской душе» – поражает. Инициатива, кажется, как обычно принадлежала Анне Вежицкой, объявившей душу, судьбу и тоску тремя специфически русскими понятиями (3). Чисто хронологически именно вслед за ее статьей последовал шквал публикаций, посвященных специфике русского национального характера и менталитета, хотя справедливости ради отметим, что о специфике можно вести речь только в том случае, когда проводится сопоставление и устанавливаются различия. Дискуссия воистину интернациональна: здесь и работы Вежицкой (4), и книги европейских культурологов, таких как, к примеру, Даниэл Ранкур-Лаферрьер (5), написавший труд под названием «Рабская душа России», и статья Татьяны Толстой «Русские?» (6), и уже ставшие регулярными журнальные публикации – от «Итогов», исследовавших в конце 1990-х русское «заодно», до «Русского репортера», регулярно публикующего лингвистические эссе о специфическом взгляде русских на мир, выражающемся в непереводаемом на иные языки понятии «собираться» в значении «намереваться» что-либо сделать. Здесь же труды о «Наплевательстве» (7) и многочисленные работы о почти что отжившем «авось», которое русские лингвисты считают квинтэссенцией русской национальной специфичности (3, 4, 8), и о многом, многом другом.

Вопрос здесь возникает следующий: а отчего общественность *широко* интересуется этими словечками, которых не счесть, и какова структура этого интереса? Ответ вроде бы очевиден: разглядывая эти слова, русскоговорящий человек с интересом открывает сам себя, гля-

дится в них как в зеркало, подразумевая: «Ну, надо же, оказывается, мы *объективно* такие-эдакие, да еще и сами не представляем, до чего мы такие и эдакие». В разбирательстве слов с точки зрения отражения в них коллективного отчасти осознаваемого, а иногда и бессознательного, конечно, присутствует, как мы уже отметили, некоторый фокус. Он заключается в обнародовании общедоступных (в силу присутствия в языке), но неочевидных общенациональных мировоззренческих *глубин*, возникших не здесь и теперь, а сложившихся в результате эволюции всех информационных систем человека от взаимодействия с физической (химической, географической) и когнитивной средой – подобно тому, как сформировались русский тип внешности, любовь к снегу и русской зиме, распределение по ареалу обитания русскоязычного населения определенных групп крови, ферментный обмен, позволяющий хорошо переносить алкоголь, и многое другое.

Каждый народ как-то мыслит сам себя. Собственный образ, не реконструированный, а вымышленный – такая же легенда, хранящаяся в наивной картине мира, как и любая другая, в том числе как и миф о том, каков некий другой народ. Сталкивать этот миф с данными лингвокультурологического анализа так же интересно, как проверять диагнозы экстрасенса клиническими анализами. Это же интересно применять и к другим культурам, не только к своей.

В Европе и Америке, например, считают, что русские едят на завтрак свиной жир, не умеют читать, отважны и сердобольны. Разве это правда? В России монголо-татарское иго мыслят как столетия, проведенные в плену у жестоких дикарей, остановивших развитие куда более прогрессивной славянской цивилизации. Но так ли это? Европейское представление о японцах как о коварных и непонятных хитрецах, развитых интеллектуально, но неразвитых духовно, напоминающих роботов, которых они в совершенстве изготавливают, отражено даже в кинематографе (любопытно отметить сходство марсиан с японцами в фильме «Марс атакует» Тима Бёртона и многое другое). Но точен ли этот штамп? Мир захвачен идеей грядущего всепоглощающего нашествия китайцев, представляя их денно и нощно трудящимися за чашку риса муравьями, копирующими чужие изобретения. Но согласуется ли это с фактами, которые дает изучение их культуры и языка?

Народы, этносы не таковы, какими их мыслит вульгарное сознание других этносов и народов.

Орда, по утверждению Льва Гумилева (9), была высокой цивилизацией, а принятый Чингисханом этический кодекс «Великая Яса» – неслыханное нарушение племенных обычаев – ознаменовал конец скрытого периода монгольского этногенеза и переход к явному периоду фазы подъема с новым императивом: «Будь тем, кем ты можешь быть». Принятый Ясой в первой трети XII века принцип свободы вероисповедания и непереследования за убеждения наряду со многими другими, такими как императивная взаимовыручка, делает портрет этого этноса совершенно иным, не гармонирующим с представлениями о диких монголах, которые бытуют в головах россиян.

Тонкие и проницательные наблюдения Маргарет Тэтчер о китайцах (10) не менее ошеломляют носителя обычных представлений, чем откровения Льва Гумилева об Орде: «Первая черта этого менталитета, – пишет бывший британский премьер-министр, – это природное превосходство. Самомнение, которое возникло на основе богатой истории и культуры, особенно во времена династии Мин (1368—1644), все более напоминало эгоцентризм. Это имело решающее значение для Китая еще и потому, что на этот период приходится подъем современной Европы, с которой в конце XVIII и на протяжении XIX века китайцам приходилось иметь дело. ...На протяжении веков китайцы думали о себе как о Срединном царстве, как о центре цивилизованного мира. ...Вторая черта китайского менталитета – ощущение уязвимости. Выходцу с Запада трудно понять причину бесконечных рассуждений о военных планах и проектах, направленных против современного Китая... Правительство Китая всегда ощущало уязвимость перед посягательствами со стороны менее цивилизованных (! – Прим.

автора), но более сильных соседей. Параноидальная идея не становится более здоровой от того, что в нее искренне верят...»

Примеры, опровергающие расхожие представления о национальных характерах, многочисленны. Собственно история стран и история слов (понятий) – принципиально важный источник, помогающий хоть как-то интерпретировать сегодняшний поведенческий и мировоззренческий абрис этноса. Но история какой глубины? Ведь рассмотрение истории человека с древнейших времен позволяет найти скорее тотальное сходство, нежели различие. Так, Э. Б. Тайлор (11) отмечал: «При рассмотрении с более широкой точки зрения характер и нравы человечества обнаруживают однообразие и постоянство явлений, заставляющих итальянцев сказать: „Весь мир – одна страна“. Как однообразие, так и постоянство можно проследить, без сомнения, с одной стороны, в общем сходстве человеческой природы, с другой, в общем сходстве человеческой жизни».

А Вяч. Вс. Иванов в «Избранных трудах по семиотике и истории культуры» (12) высказывает суждение, что «все известные языки мира – около 6000, группируемых примерно в 400 семей – восходят не больше, чем к 10—12 наиболее ранним макросемьям (которые, в конечном счете, все могут происходить из одного источника, что согласовывалось бы с моногенезом в свете молекулярной биологии)». Принципиальным установлением этого исследования является постулирование того факта, что для описания мировоззренческого статуса этноса значима только когнитивная информация, которая хранится в языке этого этноса. Иначе говоря, правило, предложенное философами языка: есть слово – значит есть явление (13), – для нас имеет и обратную силу: нет следа в языке – значит нет когнитивной сущности. Иначе говоря, для нас существует только та история, которую «видит язык», очевидно являющийся наиболее универсальной системой фиксации человеческих представлений как в синхронии, так и в диахронии. При этом данные лингвистической археологии признаются нами существенными для составления портрета того или иного национального менталитета. Так, сведения о том, что слово «истина» со времен «Судебника» и вплоть до времен Вл. Даля обозначало «наличные деньги», для этого культурно-антропологического исследования, выполняемого во многих аспектах при помощи лингвистической археологии – важнейшее данное, позволяющее объяснить стоящий за сегодняшним понятием «истины» инвариативный смысл утверждения: «Истина – это то, что есть, существует», предопределяющий дальнейшие метаморфозы этого понятия, столь тонко описанные в исследовании Н. Д. Арутюновой [Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 305].

В этом принципиальное отличие предлагаемого исследования от философского или структурального, имманентно описывающего систему языка с точки зрения только лишь актуализированного формального факта (14). Являясь по сути антропологическим, это исследование опирается на утверждение объемности и надличностности информации, записанной в языке и одинаково актуальной для понимания мировоззренческой системы этноса вне зависимости от того, взята эта информации из этимологии, сегодняшней сочетаемости или словарных определений. Метод исследования мы опишем далее, а сейчас ограничимся лишь констатацией того факта, что для нас язык представляет собой культурный слой, на котором растут деревья современных представлений того или иногда народа, отвечающего на вечные вопросы: кто, когда, куда, зачем и почему.

В фокусе внимания нашего исследования два менталитета: русский и французский. Французский менталитет описывается с позиций менталитета русского. Независимо друг от друга описываются оба менталитета и показывается их взаимная специфичность. В отличие от иностранных коллег, часто прибегающих к материалу, взятому из художественной литературы, внутренне противоречивому как в отражении явлений жизни, так и в словоупотреблении (не будем забывать об авторстве, распространяющемся и на семантический, и на синтаксический уровни языка), мы использовали материал из общеязыкового фонда, ана-

лизировали общеязыковые, а не авторские метафоры. Для этой цели во французской части мы использовали Т1Л* и многочисленные словари, в русской – базу данных издательского дома «Коммерсантъ», а также данные словарей. Употребление каждого слова проверялось нами не единожды и не дважды, а сотни и тысячи раз. Наше внимание было сосредоточено на исследовании понятий, мы пытались взглянуть в их «глубину» (именно поэтому обращались к этимологии и истории развития значения), описать закрепившиеся за ними коннотативные образы, мы, в отличие от Анны Вежицкой (1), не касались ни синтаксиса, ни морфологии, ни словообразования, поскольку считали, что исследование некоего первоначального, базового набора понятий, находящегося в основе национального менталитета, предопределяет все дальнейшие особенности, отчасти даже и синтаксические. В нашем исследовании мы описывали только существительные, исходя из весьма спорного интуитивного представления о том, что именно существительное «конденсирует» в себе первоначальные опорные точки представлений, из которых дальше может строиться система взглядов, структура менталитета. Это не означает, что глаголы или предлоги не годились бы для нашей цели, однако выбор так или иначе сделать было необходимо, да и энциклопедические словари, представляющие ту или иную произвольную сферу знаний, поддержали нашу интуитивную выборку: представление любой сферы знаний происходит на девяносто процентов при помощи растолковывания понятий, выраженных существительными.

Иначе говоря, мы описывали слова в двух языках, утверждая эти слова взаимными переводческими эквивалентами, и через них пытались разглядеть особенности менталитетов, выработавших и давших дальнейшую жизнь этим понятиям. Таким образом, мы изучали национальный менталитет через язык и лингвистическими средствами, очевидным образом придавая нашему исследованию статус лингвокультурологического. Основы представления об этой науке прекрасно сформулированы В. Н. Телия в ее последней книге «Русская фразеология» (16), и звучат они так: «Лингвокультурология – это часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии. ...Лингвокультурология исследует прежде всего живые коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых выражений с синхронно действующим менталитетом народа... Объект лингвокультурологии изучается на „перекрестке“ двух фундаментальных наук: языкознания и культурологии. Последняя исследует такой атрибут человека как его самосознание... Для культурологического анализа... понятие культуры является базовым... Культура... – это мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой... Культура – это своеобразная историческая память народа. И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоящее, но и из настоящего в будущее».

Прежде чем сформулировать наши цели, задачи, методы исследования и прочее, о чем должно рассказывать введение, охарактеризуем кратко ту парадигму, в которой находится наше исследование. Лингвокультурология – часть культурологии, которая, в свою очередь, представляет собой область культурной, социальной и структурной антропологии. В связи с этим невозможно не упомянуть, вдобавок к уже цитировавшимся авторам, имена Леви-Стросса (17) и Бодрийара (18). Основы этнолингвистики, определение ее задач и методов были сформулированы в работах Н. И. Толстого (19). В настоящее время именно в славистике развивается теория народных стереотипов и особой информации, содержащейся в фоновых знаниях, отражающих образ мира. Здесь большую роль сыграли работы С. М. Толстой (20) и С. Е. Никитиной (21). Особый интерес к реконструкции «наивной картины мира» проявлялся и проявляется многими современными лингвистами, среди которых, на наш взгляд, особое место принадлежит Н. И. Сукаленко (22). «Отцами» всего этого направления, сформулировавшими также и философские первоосновы подобного поиска, могут, безусловно, считаться В. фон Гумбольдт (23), Э. Сепир (24) и В. Н. Топоров (25) – практически ни одна работа не только

по лингвокультурологии, но и – шире – по культурологии диахронической и современной, не обходится без многочисленных ссылок на их произведения и обширных цитат из них.

Контрастивных исследований такого рода совсем немного. В области романской филологии и француско-русских сопоставительных исследований особую роль играют работы В. Г. Гака (26, 27, 28), без знания которых невозможно было бы сделать ни единого шага по этой *terra incognita*. Ему же принадлежит особая роль в разработке и обобщении теоретических основ контрастивной лингвистики как отдельной отрасли языкознания.

Однако мы скромно надеемся, что не повторили в нашей работе уже достигнутых результатов. Охарактеризуем, отчасти чтобы показать это, наши цели, методы исследования, материал, а также дадим предварительную общую оценку достигнутых результатов. Наша цель заключалась в том, чтобы провести контрастивное исследование ключевых абстрактных понятий, составляющих основу французского и русского менталитетов.

Контрастивное исследование проводилось следующим образом (метод).

Французские и русские понятия описывались через следующую систему шагов.

1. Словарное определение понятия.
2. История словарных определений.
3. Этимология.
4. Анализ на соответствие какой-либо мифологической системе (античная мифология, славянская мифология, христианство, атеизм, понятийная система рационализма или просвещения и пр.).
5. Поиск соответствующих аллегорических изображений понятий, других визуальных систем.
6. Анализ современной сочетаемости слов.
7. Описание вещественной коннотации понятия.
8. Сопоставление по позициям.

Материалом для исследования и сопоставления послужили следующие предварительно рациональным путем отобранные абстрактные существительные, представляющие, по нашей гипотезе, мировоззренческое ядро исследуемых этносов (то есть те базовые категории, элементы понимания которых находят отражение в рядах других отчасти производных представлений):

русские: провидение, участь, доля, судьба, рок, опасность, угроза, риск, случай, удача, шанс; добро, зло, истина, ложь; душа, совесть, ум, разум, рассудок, интеллект; знание, мысль, идея, размышление, причина, следствие, сомнение, уверенность, цель; страх, ужас, боязнь, испуг, паника, радость, ликование, восторг, гнев, ярость, бешенство.

французские: providence, destin, destinée, sort, fortune, danger, péril, menace, risque, occasion, hasard, chance, veine, bien, mal, vérité, mensonge; ame, conscience, intelligence, esprit, raison; connaissance, savoir, idée, pensée, cause, raison, effet, conséquence, réflexion, doute, certitude, assurance, but, fin, objectif; joie, jubilation, ravissement, emportement, fureur, furie, rage, peur, angoisse, appréhension, crainte, effroi, épouvante, frayeur, terreur.

Каждое слово просматривалось в 500—2500 тыс. контекстов, при необходимости проводились дополнительные консультации с носителями языка.

Библиография

1. Сахото К., Норико Х., Райс Дж. Эти странные японцы. М., 2004.
2. Маковский М. М. Удивительный мир слов и значений. М., 1989.
3. Wierzbicka A. Dusa (soul), toska (yearning), sud'ba (fate): Three key concepts in Russian language and Russian culture // Metody formalne wopisie jezikow stowianskich. Biatyskok, 1990.
4. Вежбицкая А. Язык, культура, познание. М., 1996.

5. Ранкур-Лаферрьер Д. Рабская душа России. М., 1996.
6. Толстая Т. Н. Русские? // Нью-Йорк: Портфель. Ардис, 1997. С. 294—302.
7. Итоги. 1990. №№16, 20, 22.
8. Разлогова Е. Э. Путеводитель по дискурсным словам русского языка. Т. 2. 1997.
9. Гумилев Л. От Руси к России. М.: АСТ, 2004. С. 127.
10. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира. М., 2007. С. 190—191.
11. Тайлор. Первобытная культура. М., 1989. С. 21.
12. Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. IV. М., 2007. С. 81.
13. Гумбольдт В. О мышлении и речи // Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
14. Арутюнова И. Д. Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 305.
15. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. М., 1966.
16. Телия В. И. Русская фразеология. М., 1996. С. 217, 218, 222, 226.
17. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1985.
18. Бодрийар Ж. Общество потребления. М., 2006.
19. Толстой Н. И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. М., 1983.
20. Толстая С. М. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора. Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения. 1. М., 1992.
21. Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993.
22. Сукаленко Н. И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. Киев, 1992.
23. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
24. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
25. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
26. Гак В. Г. Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1989.
27. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология. М., 1977.
28. Гак В. Г. О контрастивной лингвистике. Новое в зарубежной лингвистике. М., 1989. С. 5—17.

Глава первая.

АБСТРАКТНОЕ И МЕНТАЛИТЕТ

Что такое абстракция?

Во введении мы сказали, что будем добывать знания об особенностях мировосприятия французов и русских из слов их языков. Но что могут рассказать нам слова и каким образом? Изучая особенности понятийной системы языка, то есть смысл слов, невозможно уклониться от упоминания того, каким образом трактовалась и трактуется абстракция как таковая, характеризующая любую мыслительную деятельность и лежащая в основе образования понятий.

Хорошо известно, что в истории философии до Гегеля конкретное понималось главным образом как чувственно данное многообразие единичных явлений, а абстрактное – как характеристика исключительно продуктов мышления (1, 2). Первым категории абстрактного и конкретного ввел именно Гегель, понимая под конкретным диалектическую взаимосвязь, синоним расчлененной целостности, а под абстрактным – отнюдь не противоположность конкретному, а этап движения самого конкретного. Абстрактное, по его мысли – нераскрывшееся, неразвернувшееся, неразвившееся конкретное (3).

Скажем сразу, такое соображение в корне противоречит данным, получаемым в ходе исследования развития языков и, следовательно, мышления.

Дабы сделать свою мысль понятной, Гегель прибегает к метафорам, следуя по пути, проторенному самим языком, ведь иным способом осознать отвлеченные вещи трудно. Он сравнивает абстрактное и конкретное с почкой и плодом, с желудом и дубом (4), через эти символы он объясняет идею развития. Именно объясняет, а не просто иллюстрирует. Почему он так действует? Потому что именно таким естественным образом развивалась и сама человеческая мысль: от анимизма, то есть приписывания абстрактного смысла (души) конкретным вещам, к приписыванию образов идеальным сущностям, которыми абстрактные понятия и являются по своей природе. Но пойдем дальше: почему желудь и дуб, почка и плод? Почему именно эти образы должны были проторить дорожку к нашему пониманию? Потому что образ дерева является самым древним и самым универсальным в человеческой истории (5), он резюмирует многие значимые для человека смыслы, и достаточно абстрактное рассуждение «присоединить» к нему, как оно непременно обретает объяснительную силу. Этим примером с Гегелем мы иллюстрируем два важных постулата: абстрактное для понимания трактуется через конкретное, успех «предприятия» зависит от удачности выбора этого конкретного. Если так называемое конкретное берется из общего фонда образов, метафор, аллегорий, уже неоднократно истолкованных культурой (в случае с деревом – по меньшей мере индоевропейской), реципиент воспримет послание максимально адекватно. Если конкретное, образ, аллегория будут инновационными (мы говорим в таких случаях: «смелый образ»), то перед нами будет не попытка растолковать абстрактное для понимания, а иной феномен, относящийся к области художественного творчества, который в этой книге исследоваться не будет.

Отметим на полях, что применять лингвокультурологические и антропологические практики к анализу философских текстов бывает заманчивым занятием, дающим неожиданные результаты. Раз уж мы коснулись Гегеля, то заметим в полемическом задоре, что противоположности – он использует такой когнитивный конструкт для описания главного диалектического закона – обнаруживаются исключительно в идеальном, а отнюдь не в реальном мире. У слов и понятий «лошадь», «дом», «стая», «телега», «космонавт» нет антонимов, действия и движения типа «рождаться» и «умирать», «нагреваться» и «остывать», «больше»

и «меньше» противопоставляются лишь в европейской рационалистической системе рассуждения по одному из множества признаков и отражают локальный способ мышления, ограниченный во времени, а отнюдь не универсалию, способную объяснить законы развития «природы, общества и сознания» (Ленин. Империализм и эмпириокритицизм). Сразу уточним, что, по нашему убеждению, всякий признак или действие абстрактны уже в силу того, что могут характеризовать объекты из совершенно различных классов, то есть абстрагируясь от специфического, и поэтому именно среди них с такой легкостью образуются антонимические пары (даже прилагательным, образованным от существительных, обозначающих конкретные вещества, можно в известных контекстах найти антонимы: шерстяной свитер – синтетический свитер и пр.).

Противоположности (антонимы) как феномен придуманы человеком и приписаны всякой отраженной в сознании действительности, что в полной мере характеризует способ мышления, но не саму действительность. Из сказанного напрашивается вывод, что соответствующий диалектический закон распространяется только на мир идей, но не на мир вещей, описывает закономерности мышления, но не природы. И еще одно лингвистическое возражение: каждый историк языка знает, что любое абстрактное понятие некогда было конкретным (о разделении абстрактного и конкретного см. далее) и проделало долгий путь к абстрагированию. У А. Доза читаем: «Первоначально абстрактное понятие могло обозначаться только с помощью конкретного: *comprendre* в латыни имело значение «схватить», в древнегреческом «гнев» обозначался или, точнее, символизировался словом «желчь» (6). Многочисленные примеры, иллюстрирующие это положение, приведены в настоящем исследовании в главах 2, 3 и 4 и доказывают, что каждое абстрактное понятие прошло долгий путь развития из конкретного, абстрактное – результат развития конкретного.

Подобные рассуждения, представляющиеся нам крайне увлекательными и неизменно приводящими к параллелям между гегельянством и дососсюровской лингвистикой, не различавшей понятие и слово, мышление и реальность, язык и речь. Нам кажется интересным для исследования тот факт, что точные науки ушли от естественного языка как от непригодного для выражения однозначной истины именно в силу специфичности и неоднозначности абстрактных языковых понятий (на ум приходит известная цитата из Брюсова), и, возможно, именно благодаря этому в рамках точных наук были открыты законы существования и развития реального мира, в отличие от философии, претендовавшей и претендующей на подобную роль, но неизменно отражающей сложные антиномии человеческого мышления и восприятия.

К сказанному добавим, что само понятие абстракции произошло от латинского *abstractio*, обозначающего отвлечение. Этот термин ввел Боэций для перевода греческого термина, употребляемого Аристотелем для обозначения «формирования образов реальности (представлений, понятий, суждений) путем отвлечения и пополнения» (7).

Здесь нужно поставить еще один акцент, важный для дальнейшего исследования: во-первых, согласимся, речь часто идет именно об образе, причем в обыденном понимании этого слова, а во-вторых, реальность, о которой говорится внутри кавычек, может быть идеальна и не исчерпываться представлениями, понятиями или суждениями. Отметим также и то, что в соответствии с приведенным определением всякое языковое понятие, по крайней мере на первой ступени анализа, является абстракцией.

Далее мы покажем, что разграничения существительных на абстрактные и конкретные – процесс непростой и осуществляемый при установлении его референтивных связей, а пока отметим, что какие бы то ни было теоретические намерения, связанные с обсуждаемыми проблемами, неизменно разбиваются о терминологическую путаницу, царящую на уровне определения исходных понятий.

Как различают понятие и значение

Достаточно констатировать: понятие – категория философско-логическая, значение – лингвистическая. Но ни в языкознании, ни в философии этот водораздел не соблюдается, и оба термина употребляются наравне друг с другом, создавая незавидную с точки зрения стройности лингвистической теории взаимную конкуренцию. При этом одни ученые отождествляют понятие с лексическим значением слова, а другие отрицают их связь (8) – ситуация, свидетельствующая о самом начальном этапе приближения к поставленной проблеме.

Об этом же свидетельствует и непреодолимая даже для грамотного лингвиста терминологическая путаница на первой же ступени анализа: в структуре понятия обычно выделяются три компонента: сигнификат, интенционал и денотат, отношения между которыми «сложные и до конца не выясненные» (9). Выяснению этих отношений, видимо, в немалой мере препятствует то, что в языкознании зачастую не различают первые два компонента, сигнификат именуют «наивным понятием», «языковым понятием», «означаемым», «десигнатом», «денотатом языковым», «коннотацией», коннотацию (признаки, которые не включаются в понятие, но которые окружают его в языке в силу различных ассоциаций) называют интенционалом, в значении которого употребляется также непрозрачное понятие «компрегенсии». Картину дополняет заключение, что «понятие, лежащее в основе лексического значения слова, характеризуется нечеткостью, размытостью границ» (10). Понятно, что можно выстраивать различные цепочки отношений, приписывая этим отношениям, как и самим звеньям цепи, самые различные признаки и связи – все это свобода поиска, умноженная на переводной характер трудов классиков этого направления, в которой нет вреда. Ощущение тупика возникает от предположения, что понятие существует до слова, а с возникновением слова мы можем говорить о значении, структурирующем «нечеткое и размытое понятие», постольку в этом случае мы утверждаем примат сознания над языком. Подобное утверждение и по сей день остается камнем преткновения для философов языка и психолингвистов, являя собой образец неразрешимой глобальной проблемы. Мы воздержимся от теоретизирования на эту тему, поскольку уже и так было высказано достаточно дискуссионных предположений, и договоримся, в связи с невозможностью считать так или иначе, свободно оперировать обоими терминами, не ссылаясь на какие-либо терминологические рамки. Для нас важно, что понятие, или значение, – это та идеальная сущность, которая стоит за материальной стороной слова, за которой в свою очередь может находиться идеальная или материальная реальность.

Благодаря этой двойной референции возможно наметить путь разграничения абстрактных и конкретных существительных – фактов столь же очевидных, сколь и трудно определенных.

Абстрактное и конкретное

Даже при первом приближении понятно, что безупречно сформулировать различие абстрактного и конкретного, в частности, существительного – задача непростая. Ведь мы понимаем, что и в том, и в другом случае за словом стоит понятие – сущность идеальная, а отнюдь не реальная. Однако провести такое разграничение кажется соблазнительным, ведь значение слова «рука» можно условно изобразить на бумаге, то есть перевести на язык символов (картинок), в то время как слово «совесть», которое и определить трудно, и объяснить трудно, изобразить нельзя. А что это мы изобразили на бумаге, когда рисовали «дом» или «корабль»? Самым древним из известных человеку способом, пещерным и наскальным, мы запечатлели наше представление о классе предметов, запечатлели абстрагировано, так сказать, в общих чертах. Если спросить нас, что такое «дом» или «рука», наиболее точным действием будет нарисовать и сказать: «Вот!», нежели пытаться перевести ответ на язык толкования, то есть начать выражать абстрактными словами естественного языка нарисованное на листочке: «Дом – это

жилище, конструкция, обычно служащая для защиты человека, и т.д.». Почему? А потому, что на естественном языке, непременно образующем порочные круги понятий, не выстроить безупречного демаркационного определения, различающего абстрактное и конкретное, хотя на бытовом уровне даже школьник отличит одно от другого.

В русском лингвистическом энциклопедическом словаре отсутствует статья, посвященная абстрактной и конкретной лексике, а в школьном учебнике эта проблема представлена и разрешена просто и однозначно и не вызывает сложностей в понимании, потому что толкуется на примерах. В описании смысла конкретного через абстрактное есть смысловой конфликт, который можно условно обозначать как конфликт объема: объяснение – это сужение, отсечение лишнего смысла, демаркация различий. Использование абстрактных понятий для описания конкретных вещей по сути является постоянным расширением, размытием края, ассоциированием однозначного понятия с классом разнородных вещей.

Это противоречие не снял ни язык семантических примитивов, ни какой-либо другой искусственный язык, а возможно существующий *lingua mentalis* хранится за семью печатями, и неизвестно, будет ли когда-нибудь обнаружен.

Традиционная точка зрения на проблему разграничения конкретного и абстрактного представлена в работах многих исследователей. Вот, например, небольшая цитата из одной из статей А. Соважо: «Традиционно это различие (различие между конкретной и абстрактной лексикой – М. Г.) основывается на утверждении, что у некоторых слов концептуальное поле соотносится с предметом, существом или объектом, контуры которых более или менее четко определены, в то время как другие слова обозначают понятия, которые трудно уловить. Так, слова *дерево, лошадь, стол* конкретные существительные, а слова *любезность, иллюзия, радость* – абстрактные» (9).

С таким подходом переключается и высказанная в менее традиционной форме идея-метафора «музея всех мыслимых вещей» (10), очевидно и запомнившаяся в силу своей наибольшей понятности: если для данного слова в музее всех мыслимых вещей отыщется экспонат – значит существительное конкретное, если нет – абстрактное. Претензии к подобному разграничению очевидны, однако в этой идее присутствует важный для нашей трактовки этой проблемы аспект. Мы считаем, что конкретное связано со способностью человеческой памяти хранить образы некогда увиденных предметов и актуализировать их для опознания тех или иных слов, обозначающих конкретные понятия (11). Абстрактные же понятия идентифицируются когнитивным путем либо через рассуждение, либо через ситуацию (систему связей). Забегая вперед, скажем: эта система связей и является ключом к описанию специфики национального менталитета, грамматики мировоззрения, зафиксированной в понятийном аппарате того или иного естественного языка – языка, который отражает в своих пластах и происхождение этноса, и оказанные на него влияния, и специфику его истории, и генетическую предрасположенность народа, возникшего и развившегося на определенной территории в определенный промежуток времени, именно таким образом воспроизводить в своем сознании окружающий мир.

В связи с предпринятым нами исследованием заметим, что абстрактное понятие, непременно вышедшее из конкретного, стремится к конкретизации, но уже совершенно на другом уровне: оно приобретает черты конкретного предмета через вещественную коннотацию, формирующую вторичный и эклектический конкретный образ, сопровождающий данное абстрактное понятие. Таким образом, мы можем говорить о выявлении некоторой тенденции, которая условно может быть названа *вторичной конкретизацией* и представлена в следующем процессе: конкретное понятие абстрагируется, абстрактное понятие конкретизируется через ассоциирование с неким образом (*Страх съедает душу*). Вторичная конкретизация эклектична, овеществляет абстрактное понятие не целиком, развивается во времени через метафорическую систему языка.

Если суммировать сказанное, становится понятным, что именно сложная цепочка референций, выстраивающаяся за содержательной стороной языкового знака, может привести нас к выявлению качественных различий между абстрактной и конкретной лексикой и помочь понять ту роль, которую играет вторичная конкретизация (вещественная коннотация) в осмыслении и функционировании абстрактной лексики.

Референция: слабый референт и сильный референт

Референция, как известно, – это функция лингвистического знака, отсылающая к объекту экстралингвистического мира, реальному или идеальному. Всякий лингвистический знак, осуществляя связь между понятием (концептом) и акустическим образом (именно так определял знак Фердинанд де Соссюр в своем знаменитом «Курсе общей лингвистики» (12)), отсылает также и во внеязыковую реальность. Эта функция устанавливает связь с миром реальных объектов не напрямую, а через «внутренний» мир идей, характерных для той или иной культуры. Таким образом, референт отсылает не к реальному объекту, а к мыслимому, следовательно, специфичному для того или иного типа национального сознания. Мы знаем, что даже цветовая гамма может различно интерпретироваться в разных языках (например, «синий» в латыни и во французском языке, или «белый» в русском и языке эскимосов (13)), хотя единство материальной основы кажется максимально объективной. Семиотический треугольник Огдена и Ричардса (14), появившийся в эпоху многочисленных семиотических треугольников и четырехугольников (15) и представляющий отношения между означаемым, означающим и референтом, позволяет задуматься о возможных различных качествах этого референта, уводя от необходимости как-либо трактовать во всех случаях абстрактное означаемое.

Референт, по нашему мнению, может быть сильный, то есть в конечном счете имеющий прототип в мире вещей, и слабый, на такой предмет не опирающийся. Во втором случае слабость референта мощно расшатывается часто встречающейся у абстрактных понятий синонимией, характеризующей идеальные и неуловимые сущности с нечетко очерченными границами (трудно определить, чем грусть отличается от печали или идея от мысли, но легко понять, чем стол отличается от журнального столика), а также подчас достаточно подвижными антонимическими отношениями (так, не до конца понятно, что является антонимом смерти, жизнь или рождение, и горя – радость или покой).

Возможно, именно эти особенности референтов позволяют провести зыбкую границу между абстрактными и конкретными существительными, а также понять, какую роль играет метафора и вещественная коннотация абстрактного существительного, извлекаемая из общеязыковых метафорических сочетаний. Во всяком случае, предположение, что она (коннотация) служит некой «подпоркой» слабому референту, ассоциируя его с неким конкретным понятием, не кажется нам лишенной права на существование. Эта точка зрения позволяет уяснить, что обильная метафорическая сочетаемость многих абстрактных существительных, как и в целом приверженность многих наук к метафорам (приведшая в недавнем прошлом к глобальным дискуссиям о запрете или незапрете использования метафор в научных текстах, см., например, работу «Метафора в научном тексте» К. И. Алексеева), происходят не исключительно красоты ради, а также и ради осознания, которое, как мы увидим далее, без метафоры подчас не только затруднено, но и вовсе невозможно. С каким феноменом мы сталкиваемся, когда изучаем изображения вполне абстрактных понятий, к примеру, в средневековых аллегорических книгах типа лапидариев, бестиариев, морализаторских книг (возьмем, к примеру, трактат Cesare Ripa Iconologia, изданный впервые в Падуе в 1618 году), усыпанных изображениями Мудрости или Фортуны? О чем нам говорит утверждение, что твердость – это кремьень, приведшее через несколько столетий к выражению «у него характер – просто кремьень»? О том,

что на пустое место референта заступает иная сущность – устойчивый образ, метафорический концепт, связывающий мир идей с миром вещей и делающий в силу этого мир идей осязаемым.

Метафора как способ унификации абстрактного и конкретного

Часто, оперируя абстрактными понятиями, мы сознательно или подсознательно сравниваем их с понятиями конкретными – мы говорим: «Талант всегда пробьет себе дорогу», «Мое терпение лопнуло», «Потерять, убить время», «Идея носится в воздухе» и пр. При этом мы не знаем, или, точнее, нам совершенно не важно, что, к примеру, «понять» и для французского языка, и для русского восходят к одному и тому же прообразу – «схватить», «взять», – и в силу этого у нас, индоевропейцев, есть ощущение, что мы что-то ловим головой, как бы «берем в голову». Мы просто говорим: «Что-то не могу ухватить, в чем тут смысл?» – и всё. Мы подсознательно разворачиваем ситуацию охоты за смыслом, знанием, совершаем для себя исконно привычное действие присвоения себе чего-то внешнего и чувствуем себя комфортно в прирученном когнитивно-чувственном мире, позволяющем нашему воображению не только опираться на мнимые сущности, но в случае необходимости даже их подменять. Человек с легкостью принимает виртуальный мир компьютера за привычный, уже буквально за среду обитания, тождественную естественной, используя для этого воображение, поставившее знаки равенства между обычными действиями (взять, отправить, получить, открыть, запомнить, убрать в карман) и абсолютно идеальными сущностями (16). Именно для этой комфортности, доступности, познаваемости язык дает нам волшебную палочку метафоры, умножая наши интеллектуальные построения кратно совместимости их с реальностью осязаемой. У Шарля Балли читаем: «*Nous assimilons les notions abstraites aux objets de nos perceptions sensibles, parce que c'est le seul moyen que nous ayons d'en prendre connaissance*» (17). «Мы уподобляем абстрактные понятия объектам нашего чувственного восприятия, потому что это единственный способ понять и познать их» (Пер. автора). Следует ли из приведенного утверждения, что мы мыслим один, абстрактный, объект в категориях другого, конкретного? И да, и нет. Мы не считаем терпение разновидностью резины, а идею не принимаем за некое насекомое. Но мы считаем, что терпение ведет себя как своего рода необыкновенная резина, а идея бывает подобна птице, мухе и так далее. Можно ли, не сравнивая терпение с резиной, объяснить человеку, не знающему, что такое терпение, его феномен? Можно ли понять абстрактные построения, скажем, гегелевские, если изъять из них равнения? Можно ли, не прибегая к сравнению, постичь, что есть совесть или раскаяние?

Мы могли бы переформулировать высказывание Шарля Балли следующим образом: мы ассоциируем абстрактные понятия с конкретными осязаемыми предметами, поскольку это единственный имеющийся у нас в распоряжении способ унифицировать мир идей и мир вещей и существовать в однородном реальном мире, а также в силу этого овладеть обоими мирами, реальным и виртуальным. Отождествляя абстрактные понятия с предметами материального мира, мы ощущаем их как реальные сущности. Абстрактные понятия становятся одушевленными или неодушевленными, активными или пассивными, «хорошими», то есть действующими в интересах человека, или «плохими», то есть наносящими ему урон, и пр. Вследствие этого человек устанавливает с этими абстрактными понятиями такие взаимоотношения, как и с конкретными, эмоционально окрашенными (человек боится судьбы, уважает случай, работает, как инструментом, своим умом, питает надежду и пр.). Иначе говоря, благодаря овеществлению (вторичной конкретизации) абстрактных понятий человек решает двойную задачу: гомогенизирует мир окружающий и внутренний и унифицирует свои связи с ним. Инструментом для решения столь важной задачи служит метафора.

Обычно метафора понимается как «троп или механизм речи... Это употребление слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т.д., для характеристики или наименования объекта, входящего в другой класс. В расширительном смысле термин применяется к любым видам употребления слов в непрямом значении» (18). Отметим существенные для нашего исследования наблюдения над тем, что происходит со значениями слов, входящими в метафору. «Метафора не сводится к простой замене смысла – это изменение смыслового содержания слова, возникающее в результате действия двух базовых операций: добавления и сокращения сем» (19). Важное свойство метафоры – экстраполяция, «она строится на основе реального сходства, проявляющегося в пересечении двух значений, и утверждает полное совпадение этих значений. Она присваивает объединению двух значений признак, присущий их пересечению» (Там же).

Именно это ее свойство и позволяет поддержать слабый референт абстрактных существительных, сделать его более осязаемым, в силу этого чуть более реальным и понятным. Мы отчасти разделяем, противясь столь сильной абсолютизации, утверждение Н. Д. Арутюновой: «Без метафоры не существовало бы лексики „невидимых миров“..., зоны вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих абстрактные понятия» (20). Возможно, эта лексика и существовала бы, возможно, в каком-то языке она даже и существует, но такой язык связан с совершенно иным, нежели наш, типом сознания.

В последнее десятилетие в метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и сознания, национально-специфического видения мира. От осознания того факта, что метафора является едва ли не единственным способом уловить и понять объекты высокой степени абстракции, был совершен переход к более концептуальной установке: метафора открывает «эпистемический доступ» к понятию (21). Развитие этой установки приводит к глобализации роли метафоры; так, Хосе Ортега-и-Гассет утверждает: «От наших представлений о сознании зависит наша концепция мира, а она в свою очередь предопределяет нашу мораль, нашу политику, наше искусство. Получается, что все огромное здание вселенной, преисполненное жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце метафоры» (22).

Метафорическая яркость утверждения заставляет согласиться с ним и констатировать настоящий «бум» в философии, психологии, лингвистике и смежных с ними дисциплинах, связанный с изучением метафоры. В метафоре видятся теперь ключи к сознанию, подсознанию, мышлению, истории цивилизации, науке, религии, политике, социальному взаимодействию и вообще ко всему специфически человеческому.

Возможно, это закономерная реакция на длительный период всемирного лингвистического увлечения формализацией языка, логико-семантическими построениями, теорией речевых актов, прагматикой и прочими «строгими» областями языкознания. Такая всеобъемлющая оценка роли метафоры кажется нам несколько преувеличенной, поскольку в метафоре мы склонны видеть посредника между чувственным и интеллектуальным началом человека. Нам кажется, что в связи с метафорой более уместно говорить не о понимании или мышлении, а о восприятии, сочетающем в себе и интеллектуальное, и эмоциональное, и специфически (национальное) начала. Отметим, что метафора в современной лингвистике превратилась в своего рода *deus ex machina*. Будучи исходно абстрактным понятием, она развила в современном языке образ всемогущего мифологического существа, управляющего податливым человеческим сознанием и умом. Абстрагируясь от этого яркого образа, признаем, что картина мира, зафиксированная в общеязыковых метафорах, отражает очень древние, зачастую пантеистические, человеческие рефлексy мифологизации абстрактного (проявившейся вслед за одушевлением конкретного) и сама, по сути, является современным мифом, форма существования которого специфична и требует особого подхода при реконструкции.

Метафора, как мы уже говорили, – перенос, отождествление различно задуманных содержаний, точнее, образов, и именно это, очевидно, является основным способом мифологического мышления и переживания. Одушевляя идею (мы говорим: *идея легла в основу, нашла, встретила понимание, родилась, умерла, будоражит умы, выглядит, привлекает* и пр.), персонифицируя судьбу (мы говорим: *по иронии судьбы, по велению судьбы, волею судьбы, бросить на произвол судьбы, баловень судьбы, быть заброшенным судьбой в... и пр.*), материализуя горе (мы говорим: *испытать, хлебнуть горя* и пр.), превращая аргумент в некое оружие (мы говорим: *железный аргумент, сильный аргумент, весомый, броневой аргумент* и пр.), мы демонстрируем проявления нашего мифологического сознания.

Когда мы говорим о метафоризации абстрактных понятий, мы имеем в виду не ту часть древнего мифологического сознания, когда человек переносил на природные объекты свои собственные свойства, приписывая им жизнь и человеческие чувства, а о той, не менее древней, когда отвлеченному, то есть непонятному, приписывались свойства этой одушевленной природы, или самого человека, или же божества, соединяющего себе и природное, и человеческое. При этом мифологические образы представляют собой сложнейшие конфигурации метафор, «символический образ представляет инобытие того, что он моделирует, ибо форма тождественна содержанию, а не является её аллегорией, иллюстрацией» (23). Специфика мифологического мышления и сознания, отмечавшаяся многими исследователями мифа, заключается в первую очередь в нерасчленении реального и идеального, вещи и образа, тела и свойства, «начала» и принципа, в силу чего сходство или смежность преобразуются в причинную последовательность, а причинно-следственный процесс имеет характер материальной метафоры.

Идея «реконструкции» символического мира принадлежит немецкому философу Эрнсту Кассиреру, который утверждал общность структуры мифологического и языкового мира, в значительной степени определяющейся одинаковой приверженностью к метафоре. По его мысли, метафоричность слов – это наследие, которое получил язык от мифа (24). Кассирер выделял два способа образования понятий: логически-дискурсивный и лингво-мифологический. Логически-дискурсивный способ, по Кассиреру, связан с интеллектуальным процессом синтетической дополнительности, объединением частного и общего, с последующим растворением частного в общем. Однако у каждого понятия сохраняется сфера, ограничивающая его от других понятийных областей. При лингво-мифологическом способе образования понятия происходит его концентрация, размывание границ, отождествление с понятием из совершенно иного класса. Кассирер утверждает: «Метафора не явление речи, а одно из конституционных условий существования языка» (Там же). Введем одно существенное уточнение: речь, видимо, должна идти не о самой метафоре, а о том, что за ней стоит, о том образе, который возникает благодаря метафорической сочетаемости того или иного слова. Причем возникает объективно, как устойчивая, понятная всем носителям языка связь, а не как придумка стихоплета или проворно сочиняющего литератора (который тоже, отметим, редко бывает свободным от навязываемого языковыми рельсами пути метафоризации). У абстрактного понятия этот образ приобретает конкретные черты, само абстрактное понятие мыслится, точнее, воспринимается, как условно конкретное, специфически конкретное, мифологически конкретное. Эта сочетаемость, эти образы имеют крайне сложную и не всегда прозрачную историю, непременно приводящую нас к мифу. Причем к мифу, накрепко привязанному к локальной истории, языку, пережитым влияниям и катаклизмам.

Эти образы – рудименты старых мифов, которые, вступая в новые отношения, образуют новые, современные мифы, отчасти реконструируемые из таких метафор, но существенно отличающиеся от старых, в частности тем, что существуют подсознательно и не осознаются как таковые. Именно этот факт лишний раз доказывает, что в данном случае мы говорим не о пони-

мании, которое всегда осознано, а о восприятии, механизмы которого по большей части кроются в подсознании. Эти конкретные образы, выявляющиеся из метафорической сочетаемости абстрактного существительного, называются вещественной коннотацией и представляют своего рода современный пантеон, описать который – задача не современного Гомера, но ученого, который сможет достигнуть своей цели лишь путем кропотливых и не всегда очевидных реконструкций.

Вещественная коннотация и метафорический концепт

Когда мы говорим о коннотации, мы вовсе не имеем в виду всего того многообразия значений этого термина, а также подходов, представление о которых дает небольшая главка «Коннотации как часть прагматики слова», включенная Ю. Д. Апресяном во второй том своих избранных трудов (25). С понятием коннотации мы никак не связываем оценочный компонент значения, а также логический аспект формирования понятий, идущий от схоластической логики (разделение акциденций и субстанций) и проникший в языкознание в XVII веке через грамматику Пор-Рояля. В качестве ориентира мы выбираем самое общее понимание коннотации, формирование представления о котором принадлежит, по нашему мнению, Ельмслеву (26). Он считал, что коннотативное значение – это вторичное значение, в котором означающее само представляет собой некоторый знак, или первичную, денотагивную-знаковую, систему.

Добавим, что для нас важна не коннотация как таковая, а ее разновидность – вещественная коннотация, связанная со способностью отвлеченного существительного «иметь такую лексическую сочетаемость, как если бы оно обозначало некоторый материальный предмет и поэтому в мысленном эксперименте могло быть воспринято как конкретное существительное, обозначающее этот предмет. Прилагательные и глаголы, сочетающиеся с данным абстрактным существительным, как правило, имеют среди прочих конкретные значения и в этих конкретных значениях сочетаются с различными конкретными же существительными. Лексическое значение каждого такого конкретного существительного есть материальная, или вещная, коннотация рассматриваемого отвлеченного существительного в данном контексте». Такое понимание вещественной коннотации принадлежит В. А. Успенскому (27), открывшему в конце 1970-х годов своей небольшой статьей в «Семиотике и информатике» новую область исследований.

С этих позиций В. А. Успенский исследует в своей статье всего несколько слов. С категоричностью первопроходца он утверждает, что авторитет – тяжелый предмет из твердого небьющегося металла, полезный, шарообразной формы, в хорошем случае большой и тяжелый, в плохом – маленький и легкий (на основе анализа следующей сочетаемости этого абстрактного существительного: *пользоваться авторитетом, использовать авторитет, уповать на авторитет, класть авторитет на чашу весов, маленький, хрупкий, ложный, дутый авторитет, высоко держать свой авторитет, расшатать, поколебать, удержать, поддержать чей-либо авторитет, потерять свой авторитет* и пр.), страх – враждебное существо, подобное гигантскому членистоногому или спруту, снабженному жалом и парализующим веществом (выражения: *страх душит, парализует, охватывает* и пр.), горе – тяжелая жидкость (*истить горя, хлебнуть горя, быть придавленным горем, большое глубокое горе, погружаться в горе*), радость – легкая, светлая жидкость, находящаяся внутри человека (*радость тихо разливается внутри, бурлит, играет, искрится, переполняет, выплескивается, переливается через край*). Мы уделили такое большое внимание этой шестистраничной статье профессора Успенского именно потому, что, утрируя, она заостряет очевидность связи вещественных коннотаций с мифологическим сознанием, а также потому, что в этой работе анализируется именно абстрактная лексика, а не конкретная, как это делалось исследователями «наивной картины мира» до середины 1970-х годов.

Через год после статьи В. А. Успенского появляется, совершенно независимо от нее, книга Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (28), изобилующая анализом абстрактных существительных, вводящая классификацию метафор, образующих вещественные коннотации (без употребления этого термина), а также определяющая понятие метафорического концепта. Особый акцент в книге делается на том, что метафоры пронизывают повседневную жизнь человека и проявляются не только в языке и мышлении, но и в действии. Из того факта, что и в англоязычной, и в русскоязычной культуре спор мыслится как война (об этом свидетельствует богатая метафорическая сочетаемость этого слова: *быть незащищенным в споре, нападать на слабые места в аргументации, критические замечания бьют точно в цель, атаковать противника в споре, стратегия спора, уничтожить оппонента своими аргументами* и пр.), следует также и наше поведение во время спора. Спор, понятие «спора», понимается и осуществляется как война, потому что о нем говорят в терминах войны. Тем самым понятие упорядочивается метафорически, следовательно, и сам язык также упорядочивается метафорически благодаря возникновению метафорических концептов, которые определяют мышление и поведение, отражающие особенности той или иной национальной культуры.

Такого рода метафоры Дж. Лакофф и М. Джонсон называют структурными метафорами, поскольку они одно явление структурно упорядочивают в терминах другого. Вот ещё один из их примеров (29): идеи (или значения) – объекты, языковые выражения – вместилища, коммуникация – передача (таковы, в наших терминах, вещественные коннотации этих трех абстрактных существительных). Действительно, мысль можно подать, но она может не дойти, зачастую бывает трудно облечь мысли в слова, в слова можно вложить то или иное содержание: большее количество мыслей в меньшее количество слов и наоборот, иногда мысли приходится втискивать в слова, в которых заключен некий смысл, слова могут нести мало и много смысла, бывают, в первом случае, пустыми, смысл может быть погребен под нагромождением слов. Перед нами вполне разработанная мифологическая картина, принятая современным сознанием для идентификации абстрактных понятий «значение», «слово», «общение» посредством вещественных коннотаций, необходимых для такой идентификации.

В языке, по наблюдениям Дж. Лакоффа и М. Джонсона, существуют не только структурные метафоры, но и ориентационные, которые не упорядочивают структуру одного понятия в терминах другого, но проводят организацию целой системы понятий по образу некой другой системы. Они задают отношение этих понятий относительно ориентиров «верх – низ», «внутри – снаружи», «передняя сторона – задняя сторона», «глубокий – мелкий», «центральный – периферийный». Так, счастье, здоровье, сознание, жизнь, сила, власть, добродетель, рассудок ориентированы, в соответствии с их сочетаемостью, вверх, а грусть, болезнь, унижение, порок, эмоции – вниз.

Подобная ориентированность многих абстрактных понятий также связана с мифологической структуризацией идеального мира, поскольку именно ось «верх – низ» является основной во всякой мифологической системе. В цитируемой книге можно найти подтверждение такой точки зрения и еще множество интересных примеров и наблюдений, касающихся вещественных коннотаций и их роли в процессе восприятия и общения.

Важно отметить, что закрепление за тем или иным понятием той или иной вещественной коннотации или, точнее, тех или иных вещественных коннотаций не случайно и имеет в большинстве случаев объективные источники. Этому вопросу мы уделим отдельную главу. А здесь подчеркнем: даже беглый анализ вещественных коннотаций показывает, что есть общеевропейские метафорические образы (мифологические проработки понятий), то есть ситуации, где процесс вторичной конкретизации абстрактных понятий шел в русле общей праистории, а есть специфические – так, к примеру, французы совершенно не представляют себе терпение подобным резине. Анализ сходств и различий представляет собой одинаковую ценность

с точки зрения антропологического изучения русского и европейского менталитетов, цивилизационно близких, но существенно различающихся.

При этом мы не умаляем значимость изучения конкретных понятий и реалий. Например, академик В. В. Виноградов в «Избранных трудах по лексикографии» (30) тонко подмечает связь переносного значения глагола «насолить» с представлениями о соли, бытовавшими в колдовстве. Это дает нам подсказку для установления возможной связи между древним ритуалом колдовства, свойством соли препятствовать разложению и языческой привычкой бросать от сглаза соль через левое плечо, якобы отгоняя нечистую силу.

Изучение этноса и его менталитета, конечно, должно базироваться на всестороннем изучении всего того бесценного материала, который можно получить из языка.

Добавим к сказанному, что, как правило, у абстрактного понятия существует несколько различных коннотаций, ассоциирующих его с различными конкретными образами и делающих представление о нем неоднозначным и эклектичным, что, с нашей точки зрения, свидетельствует о распаде целостности мифологического сознания в современной цивилизации. Так, например, французская *réputation* имеет три коннотации: «чистая ткань», так как мы говорим *salir, ternir, entacher, déchirer la réputation, avoir un accrotàsa réputation*, «цветок» – *effleurer la réputation de qn* и «конструкция, сооружение» – *bâtir, soutenir, déboulonner, détruire sa réputation*. О чем это свидетельствует? Прежде всего, о множественности ситуаций, в которых употребимо это понятие. Так, одно дело – незапятнанная репутация человека, несущего общественное служение, на нее он не капнул ни кровью, ни жирным соусом, ни грязью, не задел, не зацепил ее из-за небрежного обращения; другое дело – репутация девушки, которая «срывается», как цветок, да и сама девушка в европейской мифологии подобна цветку; и третье дело – репутация человека, идущего вверх по социальной лестнице: каждый его шаг, действие – это строительство жизни, образа, той самой репутации. Можно ли сказать, что во всех трех случаях мы говорим об одной и той же репутации? Очевидно, нет. От этого и совершаемые с понятием разные действия, и вещественная коннотация. В членении ситуации, в соотношении набора ситуаций с тем или иным понятием, конечно же, кроется этническая специфика, прошлый и настоящий опыт социализации, пережитая история. Другое дело, что сами коннотации всегда будут из универсально-понятийного набора, развивающего свой инвентарь куда медленнее, чем движется история народа.

Итак, подводя итоги рассуждению, изложенному в этой главке, подчеркнем важные для нас соображения:

1. Вещественная коннотация сопровождает абстрактное понятие, помогает его осознанию, реализуя его в конкретном образе.

2. Вещественная коннотация свидетельствует о мифологизации современного сознания.

3. Вещественная коннотация проявляется в общеязыковых метафорах (в индивидуальных метафорах может происходить лишь развитие заданного общеязыковым сознанием образа) и, следовательно, носит объективный (неиндивидуальный) характер. Эта коннотация объективно мотивирована и задает императивные законы ассоциирования понятий для каждого носителя данного языка. Мы можем сколько угодно развивать образ «резинового терпения», порождая смелые метафоры, и можем сказать: «Мое терпение растянуто до предела», «Мое терпение взорвалось, как воздушный шарик» и пр., но если мы скажем: «Мое терпение свинтилось» или «Его терпение упало», то это будет воспринято в общеязыковом контексте как ошибка, ведущая к непониманию, ошибка, которая могла бы, по нашему убеждению, быть названа коннотативной ошибкой.

4. Вещественная коннотация не осознается носителями языка, образуя своеобразный метафорический концепт понятия, который возможно выявить лишь путем реконструкции.

5. Вещественная коннотация существует не в индивидуальном подсознании, но в коллективном, отражая специфику менталитета того или иного этноса.

Генетическая память слов и специфика национального менталитета

Почему у данного абстрактного существительного возникает именно такая структура значения, такие, а не иные, вещественные коннотации, чем мотивирован нюанс, акцент в его значении, особенно если речь идет об универсальных, как может показаться на первый взгляд, реалиях, таких, например, как страх или удивление? Откуда эти различия?

Ответ, очевидно, таков: логика развития значения слова, возникающие коннотации, обстоятельства истории этноса оказывают суммирующее значение на понятийную систему языка, где, как и в жизни человека, повторяющего историю цивилизации, свою роль играют и родители, и обстоятельства его развития и роста, и обстоятельства взрослой жизни. Прямо как в марксизме, постулирующем, что «человек есть совокупность биологического и социального» (31), с точностью до каламбурного цитирования – понятийная система языка происходит из его генетического профайла и истории культуры и цивилизации, в которой он развивался и которую развивал.

Отметим, что связь вещественной коннотации, которой мы уделили много внимания в предыдущей главке, с историей развития понятийной системы языка, а, следовательно, и менталитета, отнюдь не прямолинейна. Некоторые связи теряются (подобно тому, как мы не всегда можем обнаружить источник формы нашего носа или линии бровей, что совершенно не означает, что такого источника не существовало), некоторые слова переходят из языка в язык со своим специфическим набором коннотаций, приживаясь на чужой почве наподобие имплантата. Также мы не всегда можем в точности проследить историческую «память» у современного значения слова, хотя нередко корни все же существуют и многое рассказывают о специфике национального менталитета. Например, французское *frayeur* произошло от латинского *fragorem*, аккузатива *fragor*, имевшего значение «очень громкий внезапный шум», и именно с таким значением это слово долгое время существовало во французском языке. Этот факт во многом объясняет отличие этого французского понятия от русского «испуг», хотя обычно они считаются переводными эквивалентами. В русском понятии «испуг» этимологически также присутствует идея шума. Одна из версий происхождения этого слова связывает его с криком птицы (словообразование путем звукоподражания: испуг – от «пуг-пуг», имитации крика филина или совы), но этот шум, в отличие от шума «латинского», легко опознается, хотя и неприятен на слух. Отчасти этим объясняется тот факт, что *frayeur* – сильный, хотя и быстро проходящий страх, а испуг может быть и несильным (*отделаться легким испугом*). В русском языке поведение «спрута», описанное В. А. Успенским, характерно только для страха (*душит, парализует, леденит душу, охватывает*), а испуг бывает мимолетным, нелепым, несерьезным, характерным для пугливых, слабых натур. Вдобавок русский язык как бы помнит возможное «животное происхождение» этого слова, интересно противопоставляя «испуганный» и «страшный» паре *peureux – effrayante*, где именно этимология может служить объяснением перемены слов местами: первое слово во французской паре обозначает «испуганный», а выглядит как «страшный», и наоборот, именно в силу этимологии «страшный» связывается во французском менталитете совершенно не с французским словом «страх» (*peur*), а с его, так сказать, «испуганным» синонимом *frayeur*.

А вот пример, демонстрирующий генетическую память коннотации: французское *difficulté* (п. ф.), «сложность», напрямую связано с первоначальным конкретным значением «препятствие, помеха», пришедшим от латинского этимона. Поэтому сегодня мы говорим *rencontrer, trouver, éviter, sourmonter, tourner, esqiver, lever une obstacle*. При этом развитие коннотативного образа пошло по уже однажды проторенному человеческим сознанием пути и оду-

шевило неодушевленную «помеху», дав в общеязыковом метафорическом поле такое представление об этом понятии: *être semé, hérissé de difficultés: une difficulté se dresse, surgit, mit*.

Более подробные исследования нами будут проведены в последующих главах. Эти примеры призваны лечь в копилку иллюстраций, доказывающих, что специфичность понятия и его образа имеют глубокие корни и отражают историю развития нации (32). Прочитируем еще раз Дж. Лакоффа и М. Джонсона: «Мы утверждаем, что те ценности, которые реально существуют и глубоко укоренились в культуре, согласуются с метафорической системой» (33). Отсюда вывод: через метафорическую систему мы получаем доступ к ценностям той или иной культуры, причем даже к тем, которые не слишком очевидны.

Такого рода подход примыкает и к изучению «наивной картины мира», реализованной в том или ином языке. Исследование наивной картины мира, то есть первой ступени формирования национального менталитета, разворачивается, по свидетельству Ю. Д. Апресяна (34), в двух основных направлениях. С одной стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка концепты, своего рода лингво-культурные изоглоссы, стереотипы общеязыкового и общекультурного сознания. К ним многие лингвисты, среди них и Ю. Д. Апресян, и Анна Вежицкая, относят такие, по их мнению, специфически русские понятия как «душа», «тоска», «судьба» (35), с чем мы, проведя сопоставительный анализ с французскими аналогами, до конца все же согласиться не можем. В нашем исследовании мы, наряду с выделением специфических концептов, стараемся представить не только национальные особенности интерпретации понятий, но и их видение в той или иной культуре через их образ, через их вещественную коннотацию.

Схожие наблюдения сформулированы и представителями второго направления исследований наивной картины мира, направленных на реконструкцию присущего языку цельного, хотя и «наивного», донаучного взгляда на мир. Этот аспект проблемы остается за пределами наших интересов, но два постулата, сформулированные в этой области, разделяются нами полностью, а именно:

1. «Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» (36).

2. «Свойственный языку способ концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен» (Там же).

Именно здесь, очевидно, уместно уточнить, что же все-таки мы будем понимать под менталитетом.

Мы знаем из собственного опыта, что разные люди по-разному понимают одни и те же вещи. В этом смысле мы осознаем, что у каждого свой менталитет, то есть индивидуальная система ценностей. Менталитет, знаем мы по своему опыту, бывает разный не только у людей, но у различных социальных групп. Например, сегодняшний горожанин – образцовый гражданин общества потребления, потребляет вещи как знаки, потребляя само потребление в форме мифа (37), в то время как крестьянин потребляет и мыслит свое потребление как удовлетворение насущной потребности, да и только. С не меньшей очевидностью выступают отличия женского менталитета от мужского (в норме, в центре феноменологической группы). Если приглядеться к сути различий между различными мировоззренческими системами, то мы обнаружим, что они сконцентрированы на установлении актуальной причинно-следственной связи и ассоциативного связывания, присущего той или иной системе мировосприятия. Так, для студента деньги – это средство к существованию, а для бизнесмена – источник инвестирования, для студента природа – место, где помогают бабушке в деревне или вкалывают на картошке, а для бизнесмена – место сладостного уединения, отдыха, устройства семейного гнезда, и так далее. И, как следствие, набор ассоциаций: для студента деньги – это сегодняшняя радость, пир, раз-

влечение, для бизнесмена – венчур, риск, интеллектуальный драйв. Для студента природа – это нудное, скучное, неприятное, для бизнесмена – рай и наслаждение.

О том, что у разных народов – разный менталитет в количественном отношении, мало кто знает на собственном опыте. Туристические поездки позволяют уловить экзотику, а фильмы, как правило, трактующие общечеловеческие коллизии, не очень позволяют улавливать отличия, особенно если они дублированные. О специфике национальных менталитетов знают добросовестно изучающие иностранные языки, переводчики, политики, дипломаты, культурологи. Знают благодаря сопоставительному изучению знаковых систем разных культур – ритуалов, архитектуры, кухни, языка. Но в большинстве случаев такие особенности пока описаны не полно, а только спорадически, и их максимально полное описание, без сомнения, является одной из актуальных задач современной культурологии и антропологии.

Например, русские воспринимают государство как неповоротливую, неэффективную, агрессивную в отношении человека машину, от которой нельзя добиться того, что она должна, и с которой лучше не связываться – концов не найдешь. Французы же, вскормленные на идеях Великой французской революции, считают государство детищем собственного разума, продуктом человеческого договора, изобретением. Буквально с молоком матери они впитали идею, что государство – это механизм, сооруженный людьми, который они готовы со страстью совершенствовать и преобразовывать. Для русского государство – свирепый, неуклюжий медведь, для француза – инструмент для достижения общественного блага в форме свободы, равенства и братства.

Французский словарь Le Robert (1993) так толкует понятие менталитета, очевидно заимствованное нами из франкофонной среды: «Mentalité – ensemble de croyances et habitudes d'esprit qui informent et commandent la pensée d'une collectivité commune à chaque membre de cette collectivité». Перефразируя, добавим: менталитет – это своего рода игра в ассоциации, устанавливающая между базовыми для этноса понятиями связи, нетривиальные с точки зрения другого этноса.

Проследить связь понятий коннотации и менталитета и есть одна из основных задач нашего исследования.

Вводя контрастивную тему, мы осторожно пользовались словами аналог, эквивалент применительно к словам разных языков, обозначающим приблизительно или в точности одно и то же. Вопрос «Что такое эквивалент данному понятию в другом языке и какие эти эквиваленты бывают» представляется нам достаточно сложным и требующим отдельного обсуждения.

Что такое эквивалент? Типы эквивалентов

О несовпадении понятия в двух языках (обозначая ситуацию таким образом, мы как бы намекаем, что рассматриваем некоторый концепт, смысловой инвариант, и его обозначения в разных языках) очевидным образом свидетельствует затруднение, возникающее при его переводе с одного языка на другой (38). Всегда проще оперировать не отдельным словом, а контекстом, который допроявляет смысл, нюанс значений слов и, в частности, того слова, над которым мы в данную минуту ломаем голову. Так, например, чтобы перевести на французский язык уже цитировавшееся слово *страх*, нужно назвать десяток слов, среди них окажутся обозначения также и пограничных с ним состояний, например, *angoisse*, весь синонимический ряд, а это уже не перевод, а обозначение семантического поля... А вот контекст сразу подсказывает, в сторону какого страха нужно «двигаться». Если мы хотим перевести на французский язык «он томился неведомым страхом, сам не зная отчего», уместно использовать *angoisse*, а если «он старался побороть свой страх, считая недостойным испытывать его по столь ничтожному поводу», то уместно употребить *épouvante* или *peur*, в зависимости от дополнительного, под-

сказанного более широким контекстом смыслового нюанса. Этот факт с очевидностью свидетельствует о том, что языки не слишком приспособлены для взаимного перевода, каждый переводчик сталкивался с переводческими муками, которые в том и заключаются, что «подогнать» один язык под другой – задача невыполнимая, даже если перевод конкретных слов прост и с легкостью отыскивается в словаре. При этом каждый переводчик знает, что есть слова, которые вообще на другой язык не переводятся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.